

Е. Спекторский

**Белинский и
западничество**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 101
ББК 87
Е11

Е11 **Е. Спекторский**
Белинский и западничество / Е. Спекторский – М.: Книга по Требованию,
2019. – 36 с.

ISBN 978-5-458-54664-5

ISBN 978-5-458-54664-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2019

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2019

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

западникомъ, и то, что онъ былъ славянофиломъ. Очевидно, одно изъ двухъ: или Бѣлинскій совсѣмъ не былъ западникомъ, или же онъ былъ западникомъ въ особомъ, высшемъ смыслѣ.

Что же такое западничество вообще и въ частности то западничество, которое исповѣдовалъ Бѣлинскій?

Западничество можно понимать въ тройкомъ смыслѣ. Во-первыхъ, какъ западничество бытовое, какъ сознательное предпочтеніе русскому быту быта или всѣхъ вообще западноевропейскихъ народовъ или преимущественно одного изъ нихъ. Такого рода западничество возникло еще въ XVIII вѣкѣ. Имъ были одержимы всѣ тѣ, которые, какъ извѣстный фонвизинскій герой, скорбѣли о томъ, что тѣло ихъ принадлежитъ Россіи, зато утѣшались тѣмъ, что душа ихъ всецѣло принадлежитъ коронѣ французской. Не считаясь съ предостереженіемъ Фонвизина „кто самъ въ себѣ ресурсовъ не имѣетъ, тотъ и въ Парижѣ проживетъ, какъ въ Угличѣ“, они мечтали о жизни на западѣ, какъ о высшемъ счастьи. Они подставляли внѣшнимъ впечатлѣніямъ западной жизни свою нерѣдко пустую душу какъ *tabulam rasam*, чистую неисписанную доску. Жизнь въ Россіи они понимали и допускали только какъ насажденіе въ ней французскаго по преимуществу быта, т. е. напудренныхъ пегиметровъ, дамъ въ роброндахъ и съ мушками, французскаго языка, вкуса и стиля. Русскую литературу они или совсѣмъ не признавали или же допускали только въ видѣ слѣпого, рабскаго подражанія литературѣ французской. Поскольку, какъ выразился Бѣлинскій, въ Россіи XVIII вѣка не было общества, а былъ дворъ, постольку это, при относительной бѣдности идейнаго содержанія, давало съ внѣшней стороны блестящую картину — настолько блестящую, что въ настоящее время иные художники и писатели ищутъ и находятъ въ ней источникъ своего вдохновенія. Поскольку же западничество такого рода все-таки проникало и въ общество, постольку

оно давало нерѣдко довольно уродливые результаты. Плодомъ его была та среда, которая окружала дѣтство Герцена. „Иностранцы дома,—писалъ онъ о ней—иностранцы въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи западными предразсудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ” ⁴⁾. Въ XIX вѣкѣ представителемъ такого бытового западничества былъ Чаадаевъ съ его идеализаціею католичества и всей вообще западной культуры, доходившею до того, что даже элементарныя нравственныя понятія — о долгѣ, чести, обязанности—онъ склоненъ былъ считать исключительною принадлежностью западнаго человѣка, его психологіею, болѣе того, его физиологіею ⁵⁾. Такого рода западничествомъ страдалъ нѣкоторое время также и Герценъ. Онъ съ восторгомъ покидалъ Россію. Ему казалось, что онъ навѣки разстается съ тяжелымъ, гнетущимъ кошмаромъ и что за предѣлами Россіи его ожидаютъ новое небо, новая земля, новая жизнь. И все это рисовалось ему какъ какой-то волшебный сонъ. Но потомъ онъ отказался отъ такой мечты. Внѣшняя сторона западной жизни стала наводить на него скуку: „въ Парижѣ — писалъ онъ ⁶⁾ — весело-скучно, въ Лондонѣ—безопасно скучно, въ Римѣ—величаво-скучно, въ Мадридѣ—душная скука, въ Вѣнѣ—скука душная”. Внутренняя сторона западной жизни стала ужасать его тѣмъ, что въ ней какъ будто уже все закончено, нѣтъ болѣе проблемъ, вопросовъ, зато есть отвѣты рѣшительно на все; и главный, окончательный отвѣтъ—мелкое, самодовольное, ограниченное мѣщанство, угрожающее превращеніемъ всего человѣчества въ что-то вродѣ прессованной паюсной икры, въ безконечную массу равныхъ и подобныхъ другъ другу сѣрыхъ индивидовъ. Это зрѣлище дѣйствовало угнетающе на Герцена. И всѣ его мечты обратились на потерянное

и не возвращенное отечество. „Съ упованіемъ смотрю на нашъ родной востокъ, внутри радуясь, что я русскій“; писалъ онъ въ 1857 г. ⁷⁾. „Сердце замираетъ при мысли вѣчной разлуки“, писалъ онъ „Съ того берега“: „будто я не увижу эти улицы, по которымъ я такъ часто ходилъ полный юношескихъ мечтаній; эти дома такъ сроднившіеся съ воспоминаніямъ, наши русскія деревни, нашихъ крестьянъ, которыхъ я вспоминалъ съ любовью на самомъ югѣ Италіи“ ⁸⁾.

Вторая форма западничества — это западничество интеллектуальное, самоподчиненіе русскихъ умовъ тѣмъ или инымъ философскимъ, научнымъ или социальнымъ доктринамъ западнаго происхожденія, какъ сущей истинѣ. Такого рода западничествомъ страдали русскіе шеллингянцы и гегельянцы, которыми, какъ писалъ Герценъ, „всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней“ ⁹⁾. Сюда же въ значительной степени относилась и „такъ называемая западная профессорская партія“ въ Московскомъ университетѣ, какъ выражается въ своихъ запискахъ ¹⁰⁾ историкъ С. М. Соловьевъ. Западничествомъ подобнаго рода страдаютъ и до настоящаго времени всѣ умы догматическаго склада, предпочитающіе вѣровать, чѣмъ изслѣдовать, предпочитающіе чтеніе размышленію и видящіе готовый отвѣтъ на любой вопросъ въ мнѣніяхъ и утвержденіяхъ того или иного западнаго автора.

Есть, наконецъ, третья форма западничества, именно западничество не бытовое и не интеллектуальное, а, если можно такъ выразиться, міровое. Это не столько любовь къ западу, какъ таковому, сколько особая форма любви къ Россіи. Это желаніе, чтобы она не только стала на высоту всего лучшаго, что выработано западомъ, но еще и превзошла все это и заняла міровое

мѣсто во всѣхъ сферахъ жизни какъ духовной, такъ и соціальной. Въ такомъ смыслѣ лучшіе русскіе люди были и будутъ западниками.

Въ какомъ же смыслѣ былъ западникомъ Бѣлинскій? Менѣе всего увлекался онъ бытовымъ западничествомъ. „Я—натура русская”, писалъ онъ въ 1847 г.¹¹⁾ „Не хочу быть даже французомъ, хотя эту націю люблю и уважаю больше другихъ”. И дѣйствительно ему никогда не приходило въ голову желаніе перестать быть Бѣлинскимъ и стать какимъ-нибудь Бланшаромъ, Уайтомъ или Блейхманомъ. Не стремился онъ и на западъ. Въ 1843 г. ему представилась возможность поѣхать за границу—и онъ отказался. „Если бы—писалъ онъ — Европа сама пріѣхала ко мнѣ въ гости, я бы не принялъ ее теперь”¹²⁾. Что же его удерживало? „Рассейская литература, чортъ бы ее съѣлъ, да и подавился бы ею”, энергично объяснялъ Бѣлинскій. При этомъ онъ не хвастался и не рисовался, а, напротивъ, даже извинялся и оправдывался: „другой—писалъ онъ¹³⁾ на моемъ мѣстѣ, чтобы только отъ нея убѣжать, бросился бы хоть въ киргизскія степи, а я... отказываюсь отъ поѣздки въ Италію, Францію, Германію, Голландію, на Рейнъ и пр., отказываюсь отъ чудесъ природы, искусства, цивилизаціи и можетъ быть еще чего-нибудь большаго. Такова ужъ моя натура”. Только въ 1847 г. Бѣлинскій ѣдетъ за границу, но со спеціальною цѣлью лѣчиться отъ чахотки или, какъ онъ выражается¹⁴⁾, „закрѣпить готовый развязаться и разползтись узелъ жизни”. И вотъ тогда-то и обнаружилось, какъ онъ былъ далекъ отъ бытового западничества. Тургеневъ, который, какъ признавался самъ Бѣлинскій, былъ за границею его нянькою, безъ которой онъ никакъ не могъ бы обойтись, пишетъ слѣдующее: „онъ изнывалъ за границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ, въ Россію. Ужъ очень онъ былъ русскій человѣкъ, и внѣ Россіи замиралъ, какъ рыба на воздухѣ. Помню, въ Парижѣ онъ въ первый разъ увидалъ пло-

щадь Согласія, и тотчасъ спросилъ меня: Не правда ли? вѣдь это одна изъ красивѣйшихъ площадей въ мірѣ?— И на мой утвердительный отвѣтъ воскликнулъ: Ну, и отлично; такъ ужъ я и буду знать,—и въ сторону, и баста! и заговорилъ о Гоголѣ. Я ему замѣтилъ, что, на самой этой площади во время революціи стояла гильотина и что тутъ отрубили голову Людовику XVI; онъ посмотрѣлъ вокругъ, сказалъ: а!—и вспомнилъ сцену Остаповой казни въ „Тарасѣ Бульбѣ” ¹⁵⁾. Въ Зальцбруннѣ Бѣлинскій писалъ ¹⁶⁾: „я раскисъ и изнемогъ душевно, насилиу отчитался Мертвыми Душами”. Оттуда же онъ написалъ свое знаменитое письмо Гоголю. Въ Дрезденѣ, передъ Сикстинскою Мадонною онъ вспоминаетъ—Пушкина: „я невольно вспомнилъ Пушкина—писалъ онъ: то же благородство, та же грація выраженія, при той же вѣрности и строгости очертаній” ¹⁷⁾. Мы видимъ, что Бѣлинскій продолжаетъ и за границу главнымъ образомъ и даже исключительно интересоваться Россіею и русскою литературою. Ко всему специфически западному онъ, къ ужасу своихъ друзей, проявлялъ полное равнодушіе. Красоты Саксонской Швейцаріи его нисколько не поразили: „я видѣлъ чудную природу—писалъ онъ” ¹⁸⁾ —прекрасныя и грандіозныя мѣстоположенія.. но все это скоро надоѣло мнѣ. У меня ужасная способность скоро привыкать къ новости. И потому, мнѣ въ тотъ же день показалось, что я лѣтъ сто сряду видѣлъ всѣ эти дива дивныя, и они давно мнѣ наскучили какъ горькая рѣдька”. Такое же равнодушіе проявилъ онъ и къ Рейну и къ Кельну: „я холодно смотрѣлъ на удивительныя мѣстоположенія, на виноградники, на средневѣковые замки.. Вечеромъ прибыли въ Кельнъ. Когда я сказалъ Анненкову, что рѣшительно не намѣренъ терять цѣлый день, чтобы полчаса посмотреть на Кельнскій соборъ, — съ нимъ чуть не сдѣлался ударъ” ¹⁹⁾. „Въ другой разъ — писалъ Бѣлинскій—меня и калачемъ не выманишь изъ дому... Еслибъ не желаніе основательно вылѣчиться,

я въ августѣ махнулъ бы домой, не жалѣя, что я не видѣлъ того и этого" ²⁰). Такимъ образомъ западъ Европы, эта „страна святыхъ чудесъ", какъ ее называли даже иные славянофилы, мало привлекалъ къ себѣ Бѣлинскаго. Едва ли можно, какъ это дѣлалъ Тургеневъ, объяснять и оправдывать это тѣмъ, что „онъ уже усталъ и охладѣлъ", такъ какъ „ему всего оставалось жить нѣсколько мѣсяцевъ" ²¹). Болѣзни нисколько не помѣшала ему по возвращеніи въ Россію со свойственнымъ ему воодушевленіемъ писать и спорить о Россіи и о русской литературѣ; она не помѣшала ему написать двѣ большія и блестящія статьи: „Отвѣтъ Москвитянину" и „Взглядъ на русскую литературу 1847 года". Причина иная—безучастіе Бѣлинскаго къ западному быту, какъ таковому, и та „мучительная, злая любовь къ Россіи", которая такъ поразила Герцена во время прогулки по Парижскимъ Елисейскимъ полямъ съ Бѣлинскимъ наканунѣ его отъѣзда. „Я люблю русскаго человѣка—писалъ Бѣлинскій по возвращеніи изъ заграницы ²²)—и вѣрю великой будущности Россіи". И какъ писала Тургеневу свидѣтельница его послѣднихъ минутъ, онъ „передъ самой смертью говорилъ два часа, не переставая, какъ будто къ русскому народу, и часто обращаясь къ женѣ, просилъ ее все хорошенько запомнить и вѣрно передать эти слова".

Такимъ образомъ, хотя даже Достоевскій въ припадкѣ раздраженія увѣрялъ, что если бы Бѣлинскій прожилъ дольше, онъ „разучился бы говорить по - русски, не выучившись все таки по - нѣмецки" ²³), эмигрировалъ бы за границу „и скитался бы теперь маленькимъ и восторженнымъ старичкомъ гдѣ-нибудь по конгрессамъ Германіи и Швейцаріи" ²⁴), однако въ дѣйствительности Бѣлинскій всегда былъ далекъ отъ такого бытового западничества.

Не отличался ли онъ зато западничествомъ второго рода, именно западничествомъ интеллектуальнымъ? Вра-

ги и друзья, западники и даже славянофилы постоянно толкали его на этотъ путь. Такъ, Сенковскій писалъ въ 1846 г., что Бѣлинскому непременно слѣдуетъ прочесть книгу Мундта о нѣмецкомъ романтизмѣ, „если—прибавлялъ онъ ядовито — онъ знаетъ нѣмецкій языкъ” ²⁵⁾. К. Аксаковъ совѣтовалъ ему непременно прочесть „Объ эстетическомъ воспитаніи” Шиллера „хоть во французскомъ переводѣ” ²⁶⁾. Въ 1838 г. Бакунинъ, К. Аксаковъ и Боткинъ заявили Бѣлинскому, что ему нельзя писать и печататься по недостатку „объективнаго наполненія” ²⁷⁾. Для пополненія этого пробѣла считалось необходимымъ, чтобы онъ прочелъ побольше иностранныхъ книгъ: „какъ живешь? что читаешь?—писалъ ему Грановскій. — Читай, читай, Виссаріонъ, а не то черезъ годъ тебѣ трудно будетъ писать” ²⁸⁾. При этомъ имѣлось въ виду чтеніе не творческое, пробуждающее въ читателѣ его собственныя мысли, а подражательное, имѣющее цѣлью просто „себѣ присвоить умъ чужой”.

Виссаріонъ въ значительной степени поддавался этимъ совѣтамъ и старался, какъ могъ, въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ. Онъ отдалъ дань и Шеллингу, и Гегелю, и Фейербаху, и Пьеру Леру, или Петру Рыжему, какъ съ конспиративнымъ видомъ переписывались о немъ его друзья, и цѣлому ряду иныхъ иностранныхъ авторовъ. Онъ излагалъ и даже иногда проповѣдовалъ ихъ взгляды, причемъ дѣло не обходилось безъ недоразумѣній, вызывавшихъ въ его ученикахъ недоумѣніе, въ друзьяхъ — добродушную иронию, а во врагахъ — злорадство. Такъ, Кольцовъ, котораго онъ пытался посвятить въ тайны нѣмецкой философіи, простодушно признавался ему: „субъектъ и объектъ я немножко понимаю, а абсолюта ни крошечки” ²⁹⁾. Тургеневъ ³⁰⁾ писалъ о Бѣлинскомъ: „онъ смѣшивалъ старшаго Питта (лорда Чатама) съ его сыномъ, В. Питтомъ — что за бѣда! Мы всѣ учились понемногу, чему -нибудь и какъ -нибудь”. „Бѣдный Бѣлинскій — писалъ

онъ же — не имѣлъ понятія, что за птица былъ господинъ Менцель” ³¹⁾, когда писалъ свою знаменитую статью „Менцель, критикъ Гете”. Погодинъ выпучивалъ попадавшіяся въ статьяхъ Бѣлинскаго „варварскія фразы изъ нѣмецкихъ и французскихъ журналовъ” ³²⁾. А Шевыревъ находилъ у него „самое наивное невѣжество” ³³⁾.

Все это было бы очень прискорбно, если бы дѣйствительно Бѣлинскій былъ тѣмъ интеллектуальнымъ западникомъ, какимъ хотѣли его сдѣлать друзья и какимъ его считали враги, увѣрившіе, какъ Загоскинъ, что онъ будто бы „выучилъ наизусть всю ученую нѣмецкую терминологию” ³⁴⁾ или что онъ, какъ иронизировалъ Ушаковъ, „намѣренъ былъ получить степень доктора этико - политико - математико - археологико - (физико - философико - филологическихъ наукъ—не менѣе” ³⁵⁾. Но дѣло въ томъ, что Бѣлинскій былъ весьма далекъ отъ притязаній такого рода. Интеллектуальное западничество только поверхностно коснулось его. Какъ совершенно основательно замѣтилъ Тургеневъ, „надо жъ было и Бѣлинскому заплатить дань своему времени” ³⁶⁾. Но дань эта была вовсе не такъ значительна. „Странный я человекъ — писалъ Бѣлинскій: иное по мнѣ скользнетъ, а иное такъ зацѣпитъ, что я имъ только и живу” ³⁷⁾. Интеллектуальное западничество скользнуло по Бѣлинскому. Но не оно его зацѣпило. Это нисколько не удивительно, если имѣть въ виду, во-первыхъ, особенности его натуры, а во-вторыхъ, ту задачу, которую онъ главнымъ образомъ и даже исключительно преслѣдовалъ.

Что касается натуры Бѣлинскаго, то онъ менѣе всего напоминалъ Фаустова Вагнера, этого вѣчнаго ученика, самодовольно переходящаго

Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt,

въ увѣренности, что онъ всюду находитъ истину, гото-

вый отвѣтъ на любой вопросъ. Это былъ вѣчный искатель. Онъ въ высочайшей степени былъ одержимъ философскимъ эросомъ, наложившимъ отпечатокъ какого-то святого безпокойства какъ на его изможденное болѣзнью лицо, такъ и на его горячія, нервныя статьи. Въмѣстѣ съ тѣмъ онъ чрезвычайно дорожилъ своею независимостью. „Какое бы я ни былъ—писалъ онъ ³⁸⁾, —но я самъ по себѣ... На мнѣ верхомъ ѣздить опасно — сшибу, да еще копытомъ лягну”. „Можетъ быть, тутъ проявляется дикость моей натуры,—такъ и быть: буду самъ по себѣ” ³⁹⁾. „Я не такой человекъ, котораго тетрадка можетъ удовлетворить” ⁴⁰⁾, пишетъ онъ въ опроверженіе слуха о вліяніи, будто бы оказанномъ на него однимъ изъ выпусковъ младогегельянскихъ *Jahrbücher*. „Къ чему философскія маски:—будь всякій тѣмъ, что есть” ⁴¹⁾. Въ другомъ письмѣ ⁴²⁾ онъ говоритъ о „гадости и пошлости духа партій”. „Неужели—спрашиваетъ онъ ⁴³⁾—талантъ писателя прежде всего не въ его натурѣ, не въ его головѣ, а всегда только въ его направленіи?”. „Я давно уже отрѣшился отъ романтизма, мистицизма и всѣхъ измовъ” ⁴⁴⁾. Соединеніе такой независимости съ засвидѣтельствованнымъ друзьями неистовствомъ приводило къ тому, что Бѣлинскій не столько поддавался чужимъ идеямъ, сколько, напротивъ, какъ выразился Герценъ ⁴⁵⁾, „падалъ, какъ ракета, выжигая кругомъ все, что попадало”. Независимость ведетъ за собою одиночество. И Бѣлинскій иногда жаловался на него: „многіе люди меня любятъ больше, чѣмъ я того стою; но, мой Боткинъ, я одинъ, одинъ, одинъ!” ⁴⁶⁾. И дѣйствительно Бѣлинскій былъ одинокъ въ главномъ дѣлѣ своей жизни, именно въ созданіи настоящей критики русской литературы. „Неужели—писалъ онъ ⁴⁷⁾—на святой Руси только одному мнѣ суждено было добраться (съ грѣхомъ пополамъ) до тайны поэзіи, и носиться съ нею среди васъ, подобно Кассандрѣ съ ея зловѣщею тайною, осуждавшею ее на отчужденіе и оди-

ночество среди ликующаго народа въ свѣтломъ Иліонѣ!” Иногда это сознаніе своего одиночества переходило у Бѣлинскаго въ сознаніе своего превосходства—по крайней мѣрѣ надъ учеными доктринерами: „мнѣ сладко думать—писалъ онъ ⁴⁸⁾, — что я, лишенный не только наукообразнаго, но и всякаго образованія, сказалъ первый нѣсколько истинъ, тогда какъ премудрый университетскій синедріонъ поролъ дичь”.

Мы подошли такимъ образомъ ко второй причинѣ того, что Бѣлинскаго, въ сущности, только поверхностно коснулось интеллектуальное западничество. Именно, цѣль его жизни выходила за предѣлы этого западничества и его специальныхъ цѣлей. Эти послѣднія цѣли состояли въ томъ, чтобы провести сначала въ умы, а затѣмъ и въ жизнь все то, что пріобрѣтено и что требуется западною наукою и философіею. И вотъ наука, какъ таковая, да и философія какъ таковая, не влекли къ себѣ Бѣлинскаго. „Наука для меня не существуетъ—писалъ онъ,—я не такъ воспитыванъ, не такъ развивался, чтобы быть способнымъ заняться ею” ⁴⁹⁾. Въ заключеніи своихъ „Литературныхъ мечтаній” онъ писалъ: „я не говорилъ ни слова о томъ, что было выше моего понятія, и поэтому не коснулся до нашей ученой литературы” ⁵⁰⁾. Въ позднѣйшихъ обзорахъ русской литературы, какъ извѣстно, объ ученыхъ трудахъ писалъ не Бѣлинскій, а его болѣе компетентные друзья. Такое относительное равнодушіе Бѣлинскаго къ наукѣ огорчало этихъ друзей, но не его самого: „наука — писалъ онъ въ 1840 г.—еще не сдѣлала у насъ никакого успѣха, и потому не въ ней должно искать нашего міросозерцанія” ⁵¹⁾. „Наука у насъ еще слишкомъ нѣжное и слабое растеніе... наука на Руси до сихъ поръ еще что-то въ родѣ элевзинскихъ таинствъ,—исключительное достояніе не-большаго избраннаго класса людей” ⁵²⁾.

Что же больше всего занимало Бѣлинскаго? „Литературѣ расейской моя жизнь и моя кровь”, писалъ